

П. БАЖОВ

Русские мастера



ДЕТГИЗ
1946

П. БАЖОВ

Б 168

РУССКИЕ МАСТЕРА



Рисунки Д. МИНЬКОВА

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1946 Ленинград

2731

1857-58 г.

НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ДОЛГАЯ ЛЕТНИК НАЧИНИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ



ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости¹ было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимох Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный² был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

¹ Крепость — крепостная пора, крепостничество.

² Зарный — страстный любитель, охотник.

По работе Тимоха вовсе ёмкий был: много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают. Кто опять веселые галечки¹ выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделяют, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткнут. От хлебушки да от скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Однем словом, пестренькое дело и ко всякому споровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой вовсе занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Так про это рассказывают.

Он, этот Тимоха — то ли от молодого ума, то ли червоточина какая у него в мозгах завелась, — придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать, да еще похвалился:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали его отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья нехватит, чтоб всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает:

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари,

¹ Веселые галечки — самоцветы.

охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай либо шильцом колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело наведи!

Тимоха неймется.

— На всякое, — кричит, — дерево взлезу и за вершинку подержусь!

Старики еще хотели его урезонить:

— Вершина, дескать, мера ненадежная: была вершиной, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились:

— Твое дело. Чур на нас не пенять, что во-время не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремёсла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет? Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не сплошал. Не хуже людей у него вышло.

Женатый уже был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычью не попускался.

Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иваныч, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок, ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Што ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптиши! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это было дело. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет, и квелого самого малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сарайах этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился.

— Так и так. Желаю у тебя угольному делу поучиться.

Дедушко Нефед, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором: от меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.



Дедушко Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак да плахи расколоть, а у него и тут разговор:

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор, дескать, направлен и рука привычна.

— Не в одном, — отвечает, — топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.

Тимоха тоже стал ловкие точечки искать. Видит — правда в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется — может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь.

С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублено — так, позже — иначе. Потолще плахи — продуха такие, пожиже — другие, жердевому расколу — особо. Вот и разбираися! И в засыпке землей тоже большая сноровка требуется.

Дедушко Нефед все это объясняет по совести, да и то вспоминает, у кого чему научился:

— Охотник один научил к дымку принююваться. Они, охотники-то, на это дошли. А польза оказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно...

— Набеглая женщина надоумила. Просто мимо шла да остановилась около кучи, потом и говорит:

«С этого боку жарче горит».

«Как, — спрашиваю, — узнала?»

«А вот обойди, — говорит, — кругом, сам почуешь».

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры бабьего совету никогда не забы-

ваю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напоминает:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась. Чуть недоглядел — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко уложены, уголь выйдет звон-звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушко Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивался:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился, почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому, — объясняет дедушко Нефед, — что ты книзу глядел, — на то, значит, что сделано, а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и выпшло. Остался Тимоха углежогом, да еще прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремёсла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак, — говорит, — не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушко Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже которые живинку — всяк в своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки наростиТЬ выше облаков.





И ВА Н КО - КРЫЛА ТКО

Про наших златоустовских была сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто так написано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было, кто у кого учился.

То правда, что наш завод под немецким правлением был. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набились. Так и звали: «Большая немецкая» — это которая меж город Бутловкой да Богданкой, «Малая немецкая». Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался.

Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор ста-ринного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.

Вот и выходит — нашим и без навозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута — немецкая то есть работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Бурму ли, Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проворил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили — едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне без внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей — мели, что хочешь, коли воля дана.

Только верно, приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько:

— Штоф не чекушка. Вдвоем усидишь, и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть навыкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось — на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко.

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один, у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь-честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, чолку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в грифе да хвосте хоть сильшки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички¹, цепочки разобрать можно. Одно не поймешь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похваляется:

— Это есть немецкий рабочий.

Начальство ему поддувает:

— О та! Такой тонкий рабочий руски понимайт не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству — так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит:

— Это есть очень тонкий рабочий. Руски понимайт не может.

Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах — такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся.

Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался² и свое

¹ Жички — черточки.

² Разаркался — поссорился, побратился.

дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделять¹. Ну, и от позолоты не отказывался.

И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонок — Иванко, той же фамилии Бушуев. Смысленный по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.

— Не допущу, — кричит, — чтобы Иванко с немцами якшался! Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушко Бушуев на Фуйкину саблю и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погодя, похвастался:

— А все-таки у моего Ванята рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какую.

Все знали — старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперёшный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушел, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впустите время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им не в догадку, что старик из цеха сумный пошел.

Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!

Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

¹ В синь разделять — закреплять на металле синий цвет, который образуется при накаливании.

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем, — кричит, — что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал. А старик расходился:

— Коли, — говорит, — немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствуя!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:

— Не могу допустить к себе в дом бесприданницу.

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил, — живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, — так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб, по положению, к Фуйке русского ученика поставить — Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Легкой стати. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга¹ у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца кони выходят, только живым не пахнут. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:

— Это есть немецкий работа.

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:

¹ Байга — бега, состязания на ревность лошадей и ловкость наездников.

— Пора этот мальшик проба ставить, — а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет!

Начальство сразу согласилось.

Иванко про этот немецкий говор узнал. Пришел домой, рассказывает дедушке:

— Собираются немцы мне завтра пробу давать.

— Ну что ж, — отвечает, — постараться надо.

— Это, — говорит Иванко, — само собой, а вот что ты мне посоветуешь?

— Одно, — отвечает, — посоветую: всегда помни — не должен русский мастер ниже немецкого ходить.

Иванко вздохнул:

— Сам, поди-ко, то понимаю, да как этого добиться?

Старик брови свел, да и говорит:

— Коли вздыхать да вешать головы не станешь, всего достигнешь.

На том и разговор кончился. Забрался старик опять на печь, а Иванко потихоньку утянулся из дома. Ему, видишь, не терпелось поговорить при таком случае с Оксюткой.

Та выбежала, — сперва, понятно, затрепыхалась:

— Как быть-то, Иванушко?

Потом видит — и без того парень приуныл, по-другому заговорила:

— Неуж немца не осилишь?

Иванку неохота кисляком себя перед Оксюткой показать, живее стал плечами пошевеливать: не беспокойся, дескать. А она знай нашептывает:

— Ты уж постараися, Ваня! Крылышки, что ли, придется конику, чтоб он лучше Фуйкина вышел.

Пошептали так-то, разошлись.

На другой день поставили Иванка на пробу. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и коронку, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил — буду рисовать коня на полном бегу. Только как

тогда с короной? Думал-думал — и давай рисовать пару коней.

Коньков покрыл лентой, а на ней корону вырисовал. Тоже все жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли, и корона делу не мешает — будто несут ее кони.

Подумал еще Иванко. Вспомнил, что Оксютика шептала, и говорит:

— Э, была не была! Может, так еще лучше!

Взял да и приделал тем конькам крыльшки и видит — точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Этую рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил — сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали. Первым дедушко Бушуев пришелся. Долго на саблю глядел. Рубал ею и по-казацки и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаил. В чиковку¹ к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли:

— Какая глупость! Кто видел коня с крыльем? Почему корона сбок лежаль? Это есть поножений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.

— Псы вы, — кричит, — бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки! Что вы в таком деле понимаете?

¹ В чиковку — точка в точку, точно.

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Бизжит вдогонку:

— Такой глупый мальчишка завод не пускайтъ! Штраф платить будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую, и не препятствую.

Иванко повеселел маленько, да и обмолвился:

— Это она надоумила крыльшки-то конькам приделать. Дедушко удивился:

— Неуж такая смысленая девка?

Потом помолчал малость, да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал! А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховодить у нас на заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Еще, гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскорости после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из кутузовских. Немало он супостата покрошил и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит — у старика заслуг-то на груди небогато. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшённый цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей с золотым украшением. Выбирай самолучшую.



Немцы, понятно, спозаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, полировку, все винтики опробовал и говорит:

— Много я на своем веку украшённого оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. В самую точку попал. Твоя рисовка к добруму казацкому удару ведет.

Тут генерал так саблей жикнул — царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю, правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь, — пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.

С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатком звать. Через год ли, больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, невпример прочим, все-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались.

Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать. Вот хоть алмазную спичку хватить. Сколько они тут подводу делали да как исхитрились!.. Только про это другой раз скажу.

Оксюткой дедушко Бушуев крепко довolen был. Все соседям нахваливал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков, с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо ростят. В одном оплошка: не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтобы сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих крылья отрастут. Как думаете?

Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?





ЖЕЛЕЗКОВЫ ПОКРЫШКИ

Дело это было вскорости после пятого году. Перед тем как войне с немцами начаться.

В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да тоже не часто. Кому надо, охотились за этими кусочками, все едино как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупить. А контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило: что найдут, то и уплывет за границу.

Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает: над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не

хочет. Только для церквей и разных дворцовых украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешевкой торговали. Так, пустой камешок на немецкий лад гнали: было бы пестренько да оправа с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи.

Кончил поделку, покурил да сплюнул — и принимайся за другую. Одно слово, пустяковина, базарский товар. Глядеть тошно, кто в том деле понимает.

Ну, все-таки старики, коих смолоду малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то: и камешок добывали и покупателя с понятием находили.

Один такой в нашем заводе жил, Евлахой Железком его звали. Еще слух шел, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали.

Вот будто подошел какой-то большой царицын праздник. Не просто именины али родины, а, сказать по-теперешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позаинтнее.

У царей, известно, положение было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить — один поставщик волокет, закусить придумал — другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей, в своем деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным каменьям содержал, на обе столицы широкую торговлю вел, и мастера у него были первостатейные.

Призывает этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивление. Фабержей, понятно, кланяется да приговаривает: «Будет готовлено», а сам думает: «Вот так загвоздка!» Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить, только тут дело вышло не простое. Бриллиантами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнехонек сундук набит и

камни самого высокого сорту. Тонкой гранью либо ловким узором тоже не проймешь, потому — люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после пятого году камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередило. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали, как она с царем кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему, а только с пятого году к царице с красным камнем и не подходи — во всю голову забизжит, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше, известно, спросы да допросы: с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были? Тоже кому охота в такое дело вляпаться!

Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить и чтоб красненького в подарке и званья не было. Думал, думал, пошел со своими мастерами посоветоваться. Обсказал начистоту и спрашивает:

— Как располагаете?

Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит:

— На мое понятие, тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы: самому вислоносому дураку покажи, и тому весело станет.

Хозяин, конечно, оговорил старика: не к чему, дескать, о вислоносых дураках поминать, коли разговор идет о царском подарке, за это и подтянуть могут, а насчет камня согласился:

— Верно говоришь. Малахит, пожалуй, к такому случаю подойдет.

Другие мастера сомневаются:

— Не найдешь по нынешним временам доброго камня. Ну, хозяин на деньги обнадежился.

— Коли, — говорит, — в цене не постоять, так любой камешок достать можно.

На этом и сговорились: будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, какие полагаются, тут же придумали.

Сказано — сделано. В тот же день Фабержей своего доверенного в наши края послал и наказ ему дал:

— Денег не жалей. Только бы камень настоящий и спокойного цвету!

Приехал этот Фабержеев поверенный и давай искалься. Первым делом, конечно, на Гумешки. Тамошние камнерезы наотрез отказали — нету доброго камня. В Тагил сунулся — есть кусочки, да не того сорту. В заграничной конторе через подставного человека наведался. Только разве там продадут, коли сами крохами собирали! Совсем приуныл доверенный, да, спасибо, один горщик надоумил:

— Поезжай-ко ты к Евлахе Железку. У этого беспременно камень имеется. Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, что все здешние купцы по каменному делу, да и в заграничной конторе неделю кулаками махали, ногами топали да грозились: «После этого пусть Евлаха со своей поделкой и на глаза не показывается. За пятак не примем!»

А Евлаха посмеивается да ответный поклончик послал:

— Рад стараться с жульем не вязаться. Теперь еще, по-ди-ко, не забыл, как таким кланяться доводилось. Больше этого не будет. Кому надо, пускай сам ко мне за камешком волокется, а я еще погляжу — кому удружить, кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остался, а еще так могу по загривку дать, что который и с каменной, десятипудовой совестью, а легкой пташкой за ворота вылетит.

Фабержеев доверенный, как услышал это, забеспокоился, спрашивает:

— Видно, этот Евлаха в деньгах не нуждается? Богатый сильно?

— Нет, — отвечают, — богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство, дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублем не сманишь, а коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.

Доверенному полегче стало. «Есть, — думает, — чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются». И не ошибся в расчете. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился, спросил только:

— Какой величины камни и какой узор надо?

Доверенный объяснил, что крышки по дольнику должны быть не меньше двух четвертей, поперек — четверть с малым походом, а камни желательно со своим узором. С таким, значит, чтобы на обои ничуть не походило.

Евлаха говорит:

— Ладно. Найдется такой камень. Приезжай через неделю.

И цену назначил — по две сотни за штуку. Доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел еще поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был, сразу обрезал:

— Сказал — приезжай через неделю, тогда и разговор будет, а то о чем нам у пустого места судить!

Приехал доверенный через неделю — готовы крышки, и не две, а четыре штуки. Все, понимаешь, как весенняя трава под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени-то и ходят. И у каждой крышки свой узор. Ни один завиток-плетешок полной сходственности не имеет, а все-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, какие крышки парой приходятся. Однем словом, мастерство.

Разложил Евлаха свою поделку:

— Выбирай любую пару!

Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашел никакого изъяну, полюбовался узором и говорит:

— Покупаю все.

— Что ж, — отвечает, — бери, коли надо. Плати деньги.

Доверенный поскорее рассчитался, по договору, и домой. Мастера Фабержеевы похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчет малахиту, посомневался ма-ленько.

— Вроде, — говорит, — деланный камень, а не натуральный. Ну, руками делан.

Другие мастера засмеялись: выдумывает старик, хочет себя выше всех поставить. А хозяин прямо объявил:

— Ежели и сделанный, так не хуже настоящего, а это в мастерстве еще дороже.

Ну вот, изготовил альбом на удивление! Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил до его приказу эти крышки в дело пускать. Так они и лежали у Фабержея в запасе и долежали до того года, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по брильянтовой плавке отличался. Петергофским мастерам по гранильному и камнерезному делу, да и Фабержеевым тоже, охота была этого приезжего кое о чем поспрашать. Вот они ходили за ним, все едино как женихи за невестой, угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер Евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул, да и говорит в том смысле:

— Ловко, дескать, вашим-то! Режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит.

Наши мастера объясняют, что дело не столь простое, потому — камень из кусочков складывают.

— Про это, — отвечает, — знаю. Дело, конечно, мешковное, а все-таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узора камешок имеется.

Один мастер на это возьми и скажи:

— У нас на фабрике насчет этих крышек еще спор был: из природного они камня али из сделанного.

Французского мастера такими словами будто подстегнуло: всю степенность потерял, забегал, засуетился, спрашивает: «Кто так говорил? почему? какие приметки сказывал? чем дело решилось?» А пуще того добивался, где тот мастер живет, который крышки делал. Дивился, понятно, что никто об этом толком сказать не умеет. Одно говорят: доверенный привез с какого-то завodu и сказывал, что мастер — мужик с пружинкой: не по месту заденешь, так и по лбу стукнуть может, а как прозванье мастеру — не говорил. Надо, дес-

кать, у этого доверенного и спросить, только он в отлучке по хозяйственным делам.

На другой день приезжий мастер прибежал к Фабержею на фабрику и давай опять про крышки спрашивать. Старый малахитчик не потаился, сказал, в чем сумленье имел. Другие мастера опять заспорили, всяк свое доказать желает. Тут сам Фабержей прибежал, послушал, пострекотал с приезжим по-своему, по-французски, и велел принести запасные крышки.

— Чем, — говорит, — попусту время терять, давайте-ко отпилим у крышек правые уголышки, которые на волю, да опробуем их как следует. Крышкам от того изъяну не будет, потому как можно на тех местах закругление дать, либо их украшением прикрыть, зато в точности узнаем, какой это камень: природный или сделанный?

Живо опилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на размол, по весу. Однем словом, всяко старались, а до дела не дошли. На то вышло, что состав малахитовый, а полностью сходства нет. К тому все-таки склонились — не зря старик малахитчик сомневался: что-то не так.

Французский мастер в этом деле больше всех старался и книжки какие-то притащил, по ним глядел. А как вышло это решение, что камень сделанный, сейчас в контору побежал. Там, дескать, беспременно фамилия мастера должна быть. В конторе, верно, расписка оказалась: получено-де за четыре малахитовые доски такой-то меры две тысячи рублей, и крючок вроде подписи поставлен, даром что Евлаха грамоте не разумел, а ниже писарь подписался, и волостной печатью шлепнуто. Доверенный, известно, по правилу воровал: Евлахе заплатил восемь сотен, писарю сунул одну либо две, остаток — себе в карман.

Послали этому доверенному телеграмму, чтоб полное имя и местожительство мастера дал, который крышки на царский альбом делал. Доверенный, видно, испугался, не открылось ли мошенчество, — не отвечает. Другую телеграмму подали, третью — все молчит. Тогда хозяин сам ему строгое письмо написал: дескать, что такое? Как ты смеешь меня

пред приезжим гостем конфузить? Тогда уж доверенный отписал: завод такой-то, мастера этого там все знают, а как его полное имя — не упомнит; заводские больше зовут его Евлахой.

Как получили это письмо, француз и давай спрашивать, в каком месте наш завод и как к нам попасть. Ему, понятно, объяснили. Он живенько собрался — и на поезд. Из города прикатил на тройке, остановился на ямской квартире и первым делом спрашивает, где мастер по малахиту живет. Ему сразу сказали — в Пеньковке, пятые или там девятое ворота от большого заулка направо.

На другой день этот приезжий пошел, куда ему сказывали. Одежа, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки, по летнему времени, зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента по ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали. Ребята, понятно, сбежались, дивятся на этого барина в белой шляпе, а он еще говорит по-нашему не вовсе понятно. Ребятам того занятнее, с полсотни их набежало.

Вот дошел француз до Пеньковки: Видит — улица не из тех, где добрые дома стоят. Посомневался, спрашивает:

— Где тут мастер живет, который по малахиту работает?

Ребята, рады стараться, наперебой кричат, пальцами показывают: вон-де, в той избе дедушко Евлампий проживает, он один у нас в заводе малахитом занимается.

Француз поглядел, вроде как удивился, все-таки в ограду зашел, и ребята за ним. Видит — на крылечке сидит старик: из себя рослый, на лицо тончавый и, похоже, хворый. Седая борода лопатой, и маленько она зеленым отливает. Одет, конечно, по-домашнему: в тиковых подштанниках, в калошах на босу ногу, а поверх рубахи жилетчик старенькая, вся в пятнах от кислоты.

Сидит этот старик и ножичком вырезывает из сосновой коры что-то, а парнишко — внучонок — наговаривает:

— Ты, дедко, сделай, чтобы лучше Митюнькиного на плечо был. Ладно?

Домашние, какие в ограде на то время случились, забес-
покоились, как француз зашел, а Евлаха сидит себе, будто
его дело не касается. У него, видишь, повадки не было перед
городскими заказчиками лебезить, в строгости их держал.

Заграничный мастер постоял у ворот, поогляделся, подо-
шел ко крылечку, снял свою белую шляпу и спрашивает по
всей французской вежливости: дескать, дозвольте спросить,
можно ли видеть каспадин мастер Ефляк, который делает из
малахит. Евлаха слышит по разговору — чужеземный ка-
кой-то пришел, и говорит дружественно:

— Гляди, коли надобность имеется. Я вот и есть мастер
по малахиту. На весь завод один остался. Старики, видишь,
поумирали, а молодые еще не дошли. Только, конечно, меня
не Фляком зовут, а попросту — Евлампий Петрович, прозва-
нье Железко, а по книгам пишусь Медведев.

Француз, конечно, понял с пятого на десятое, а все-таки
головой замотал, перчатку зеленую сдернул, здоровается с
Евлахой за руку, а сам поговаривает в том смысле, что на-
предки, дескать, будем знакомы, каспадин Ефляк Петрош.
Простите-извините, не знал, как называть-величать. И про
себя тоже объяснил, что он мастер по брильянтовому делу,
все сплавы знает, из каких камень делается.

Евлаха похвалил это.

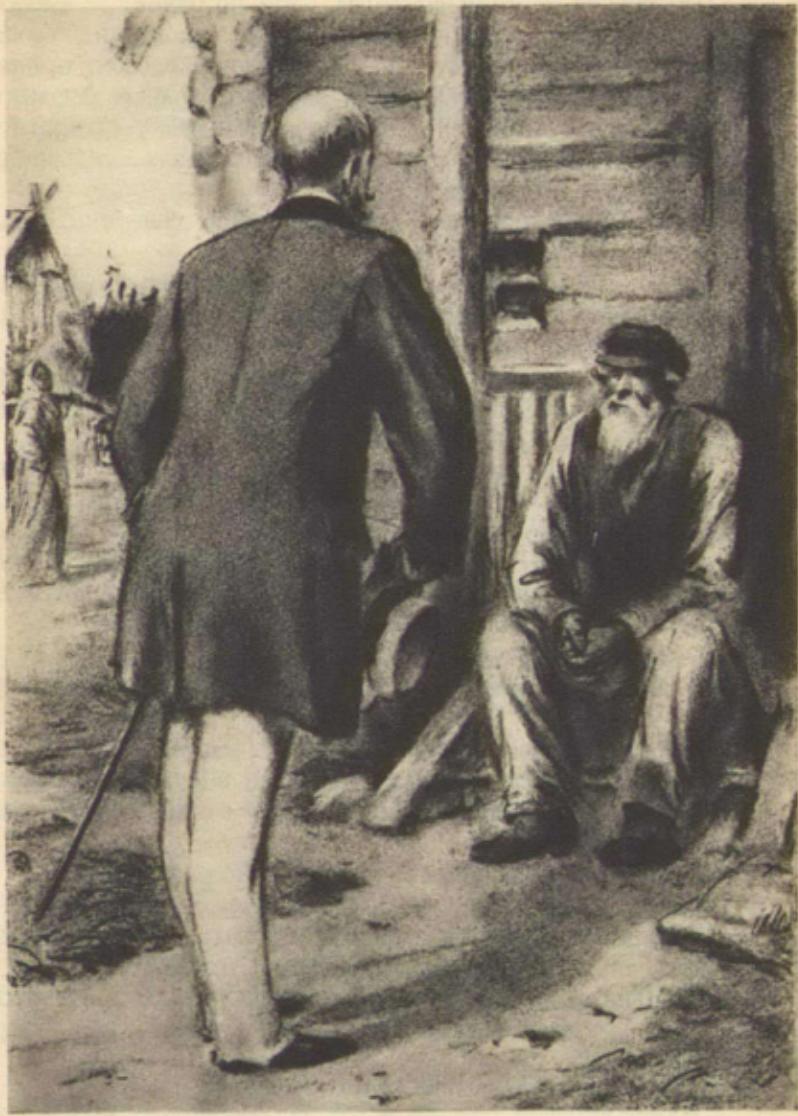
— Что ж, — говорит, — камешок ничем не похаешь. Не-
даром он самой высокой цены, потому — глаз веселит, Изве-
стно, всякому камню свое дано. Наш вон много дешевле, а в
сердце весну делает, радость человеку дает.

Француз опять головой мотает и по-своему лепечет: кас-
падин Ефляк Петрош да каспадин Ефляк Петрош. Рад-де
побеседовать. Нарочно для того из французской стороны
приехал. А Евлаха пошутил:

— Милости просим, коли с добрым словом, а ежели с ху-
дым, так ворота у меня не заперты, выйти свободно.

Тут Евлаха замахал руками на набеглых ребятишек, ко-
торые в ограду за приезжим набились:

— Кыпите, воробыята! Лети всяк куда надо, а нам без
вас сподручнее.



Ну, ребята и стали выходить один по одному, а Евлаха повел приезжего в избу. Велел снохе самоварчик сгноншить¹, полштофа на стол поставил. Однем словом, принял гостя по-хорошему. Побалакали они тут, только заграничный мастер ту линию гнет, чтобы мастерскую у Евлахи поглядеть. Евлахе это подозрительно показалось, только он виду не подал и говорит:

— Отчего не поглядеть? Не фальшивы монетики, поди-ко, делаю. Поглядеть можно.

Ну вот, повел Евлаха приезжего мастера на огород. Там у него малуха² была. Избушка, известно, небольшая. Дверцы хоть широконькие, а без наклону не пройдешь. Ну, француза это не держит: не боится свою белую шляпу замарать, вперед хозяина лезет. Евлахе это не поглянулось: «Вишь, скачет! Думает, так ему и скажу!»

В малухе, как полагается, станок с кругами, печка-железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеянный и протча. Французский мастер оглядел все, рукой опробовал и, видать, чего-то найти не может, а Евлаха навстречу ему говорит:

— Цементу нет. Не употребляём.

А про себя усмехается: «Не столь это просто, как ты думал!»

Посовался-посовался французский мастер — видит, на глаз дела не понять, а Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал на него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит:

— Вот, погляди, барин, что из этой грязи делаю.

Французский мастер стал досочки перебирать и видит — все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит, а Евлахе усмехается:

— Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дожди-

¹ Сгноншить — приготовить быстро, поспешно.

² Малуха — малая изба, мастерская, которую чаще всего ставили на огородном участке.

ком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, — а все красота. И конца-краю той красоте не видится.

Приезжий тут давай доспрашиваться, как составлять камень. Ну, Евлаха на это не пошел, пустыми словами загородился: составы, дескать, разные бывают — когда одного больше берешь, когда другого. Иное спекаешь, иное свариваешь, а которое и просто смешать можно.

— Каким, — спрашивает, — инструментом работаете?

А Евлаха и отвечает:

— Инструмент известный — руки.

Заграничный на это головой болтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал:

— Волшебные руки, Ефляк Петрош! Волшебные руки!

— Волшебства, — отвечает, — нет, а на руки не жалуюсь.

Заграничный мастер видит — ни хитростью, ни лаской Евлаху не возьмешь, вынимает из кармана два петровских билета — тысячу, значит, рублей, — кладет на верстак и говорит:

— Плачу тысячу, если все по совести расскажешь, а коли научишь, натурально еще столько доплачиваю.

Евлаха поглядел на петровский портрет и говорит:

— Хороший государь был! Не чета прочим, а только он тому не учил, чтоб мы нутром своим торговали. Бери-ко, барин, свои деньги да ступай, откуда пришел.

Тот, конечно, завертелся: что такое? В чем обида?

Ну, Железко тут свой характер показал, отчитал гостя.

— Эх ты, — говорит, — белошляпый, а еще мастер называешься! Скажи тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки кому хочешь продашь. До немцев дойдет, а эти дуболовы любой камень испоганят. Харчок в золотой оправе станут за малахит по пятишке продавать. Понимаешь это? Харчок — за наш родной камень, в кое радость земли собрана. Да никогда этого не будет! Нам самим этот камешок пригодится. Не то что покрышки на царский альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаются будут, чтобы хоть

глазком поглядеть. И будет это наша работа! Вот такими же руками делана!

Так заграничный мастер и ушел от Железки ни с чем. Хотел тех досочек купить — тоже ни одной не продал. А крышки от Фаберже все-таки увез. Через свое начальство улестил царя, чтоб подарок такой сделали французской стороне. Тоже, значит, альбом в малахитовых крышках, только крышки по углам маленько срезаны.

А Железко умер уж в гражданскую войну. Тогда еще некоторые сомневались, как да что будет, а Железко одно говорил:

— Не беспокойтесь — рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по кручинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье — тоже.





КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделявали подходящие. Такие, слышь-ко, штучки, что диву даешься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьевич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьевичу парнишек на выучку:

— Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопьевич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — училшибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по

всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьевича:

— Не гож, так не гож... Другого дадим... — И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышиали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьевичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездоро это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьевичу учеников. Тот, по своему порядку, помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику:

— Не гож этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

Прокопьевич знай свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет.

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь — об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьевичем многое ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно некоторые портили, чтобы Прокопьевич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и претча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие пар-

нишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забывается куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали —шибко жидкое место, на неделю нехватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенькая, а из-под крыльышек у неё желтенько выглядывает, а листок широконы́кий... По краям зубчики вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет.

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилке далось: на рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликуются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать¹ Данилушку. Кто пониточек²

¹ Привечать — приветливо, ласково обходиться, принимать.

² Пониточек, пониток — верхняя одежда из домотканного сукна.

починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет... Про кусок и разговору нет — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушкины песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал малым делом. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе! Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так, обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда известно какая была. За всякую вину спину кажи. На грех, еще одна корова-то из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растворили сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палац оговорился даже:

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

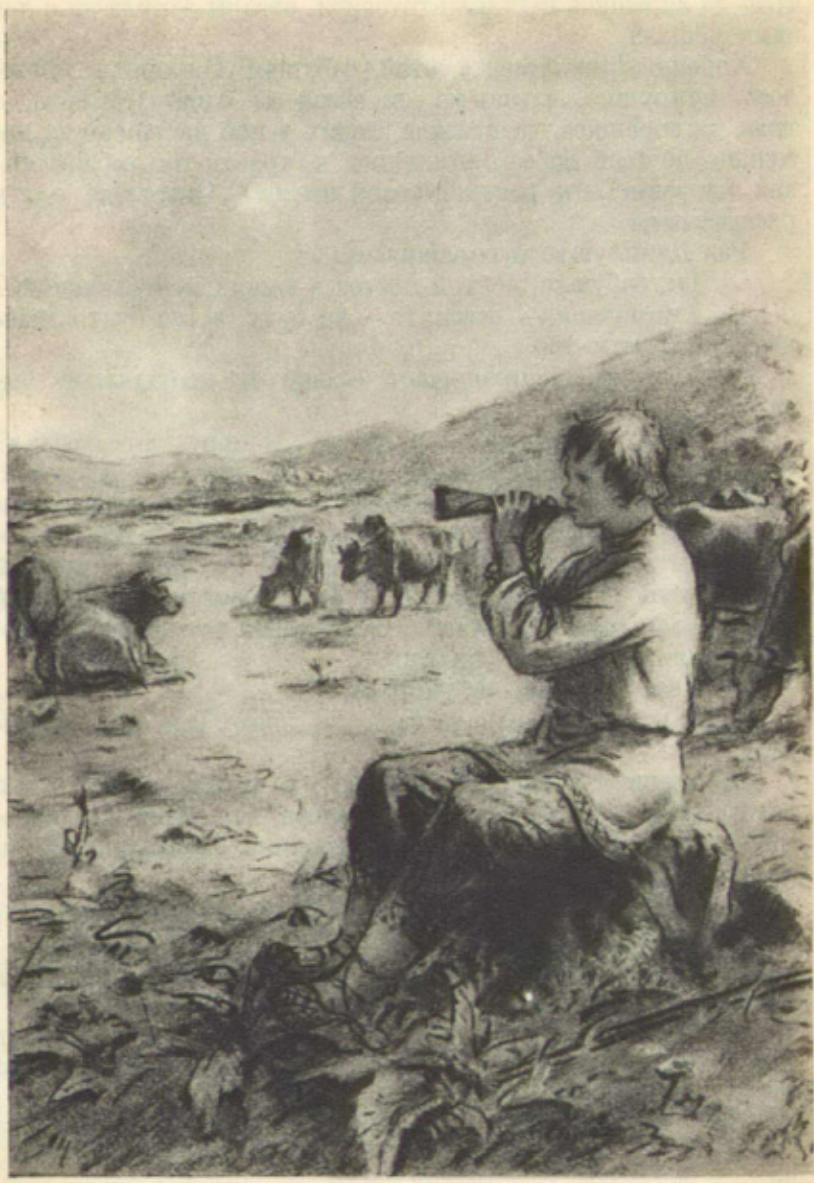
Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палац его вдругорядь — молчит, втреты — молчит. Палац тут и расстерьвился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Даешь голос!.. Даешь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких



трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с ма-
зями мешала.

Хорошо Данилушки у этой бабушки Вихорихи пожи-
лось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словохотливая, а
трав, да корешков, да цветков всяких у ней наслушено да на-
вешано по всей избе. Данилушки к травам-то любопытен:
как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и
рассказывает.

Раз Данилушки спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю,
какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — еще и неоткрытые бы-
вают?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал?
Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской.
Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-тра-
ве цветок — бегущий огонек. Поймай его — и все тебе затво-
ры открыты. Воровской этот цветок. А то еще каменный
цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный
праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, кото-
рый каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказы-
вали.

Данилушки у Вихорихи, может, и подольше бы пожил,
да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-
мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Дани-
лушки призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь ко Прокопьевичу — малахитному делу
обучаться. Самая по тебе работа.

Ну, что сделаешь, — пошел Данилушки, а самого еще
ветром качает. Прокопьевич поглядел на него, да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здеш-
няя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой
стоит.

Пошел Прокопьевич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он, этот парнишко, крепкий. Не гляди, что жиенький.

— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьевич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишко. Что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришел Прокопьевич домой, а Данилушкино около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушкино на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьевичу любопытно стало, что этот новенький парнишко тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать, а? Что тут доглядываешь?

Данилушкино и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьевич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушкино.

— Кто испортил, а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушкино пальцем не задел. Прокопьевич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушкино своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьевич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушкино и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьевич зной покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишко говорят. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушкин рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьевич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками, всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученчик тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьевич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей с находу¹ у него хозяйство вела. Утрами ходила постригать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьевич сам управлял, что ему надо. Поели, Прокопьевич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушкин разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько — вишь, холодно уж в избе-то было по осеннему времени, — все ж таки вскорости уснул. Прокопьевич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет.

Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так

¹ С находу — приходить на время.

поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишко лучше узор понял.

«Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьевич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!»

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушки под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало — и давай насиживать носом полегоньку. У Прокопьевича своих ребят не бывало, этот Данилушкин и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушкин знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьевича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровы был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться! Пыль — отрава, живо заахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушкин:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньами прихватило — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Скольз на берешь — то и ладно. Хлеба возьми полешку — ешся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечётку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушкин поймал и принес, Прокопьевич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьевич Данилушкину работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с сосе-

дом за дровами ездить — пособишишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома, да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьевич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьевич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушки-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушки живо поправляться стал и к Прокопьевичу тоже прильнул. Ну, как — понял Прокопьевичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушки и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только к мастерству Данилушки присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьевичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопьевич объяснит, на деле покажет. Данилушки примечает. Когда и сам примется: «Ну-ко, я...» Прокопьевич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик иглядел Данилушки на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишко? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушки. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушки и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьевичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушки:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему, другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушкин вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушкине делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушкин запончик¹ надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести², как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьевичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьевич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьевич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушкин, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушкин, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьевича даже слезы закапали — до того ему это по сердцу пришлоось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушкин... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушкин не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки,

¹ Запончик — фартук.

² Полер навести — отшлифовать.

какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Так и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь, у малахитчиков, дело мешковатое. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушки и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только, по молодости, еще тихо. Прикажете его на уроках оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушки вовсе не тихо, а надиво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут споровку поимел. Задаст приказчик Данилушки какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушки и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать-писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже споровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушки делать, только Данилушки этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ко, у тебя борода позеленела от малахита, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушки и впрямь к той поре выпрямился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушки знай головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьевичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьевич тому Данилке не пособлял. Недоглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьевич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьевич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и выпала из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьевичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому, старому псу, покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был — все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьевича брать — может-де вдвое-то скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже

чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал:

«Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в течности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушки к Прокопьевичу и чертеж отдал.

Повесели Данилушко с Прокопьевичем, и работа у них бойче пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принял ся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударили — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьевичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал — не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушки думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости не много надо, а свое придумать — не одну почку с боку на бок повертишься. Вот Данилушки сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитову камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьевич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушки, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушки, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушки остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что.

Людей в ту пору в лесах и на покосах много. Сирашают Данилушки — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой — и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из обиди: черемицу да омел, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьевич вовсе забеспокоился, а Данилушки и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьевич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушки на своем стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем да полер находим, и вовсе ни к чему. Вот мне и пришло желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушки, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная, с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьич сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушки сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу ее из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушки чашей. Работы с ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать.

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заметил, что Данилушки на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто не нареком, и заводил разговор. А Данилушки свое твердит:

— Погоди! Вот с чашей управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди, молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей! Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушки чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушки слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить...

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклейл да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушки, что ему Прокопьевич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьевича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старионко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушки:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к хозяйке в горные мастера.

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер уви-

дит, сразу узнает — нездешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы.

Прокопьевич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказывашь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит — камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурманцветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьевич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?¹

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

¹ Смотница — сплетница.

И повадился на медный рудник — на Гумёшки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то повертил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... У Змеиной горки.

Глядит Данилушки — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушки — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушки хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумёшек. Теперь ее нет, давно все срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушки. Горка хоть небольшая, а крутеньяя. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядешь тут первосортное. Все пласти видно, лучше некуда.

Подошел Данилушки к этому глядешьцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушки эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушки, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьевичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принял Данилушки за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьевич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отдал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья

широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Неживой стал и красоту потерял. Данилушки тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся — чего еще парню надо? Чаша вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умется¹ парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушки и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой.

Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово! Назначили день. Повеселел Данилушки. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушки говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около змеиного праздника свадьба пришла. К слову кто-то и помянул про это — вот где скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушки эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не ехать ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушки. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушки ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушки о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у

¹ Умется — заговаривается, близок к помешательству.

одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушки тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы неайдет: «Вот бы поглядеть!»

Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушки поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушки сразу ее признал. Только и то думает: «Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушки, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушки, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От

ветру-то покачиваются и голк¹ дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная — лазоревая, красная. Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотеные трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты, черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная² звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает хозяйка.

— Не найдешь, — отвечает Данилушки, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула.

Опять заплакало, и Данилушки на том же камне, в ямище-то этой, оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушки домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушки веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась.

По обряду, невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили! Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

¹ Голк — отзвук, гул.

² Сурьмяная. — Сурьма (сернистая) встречается в виде красной руды, из которой производится киноварь (красная краска).

Про себя думает: «Пообует Данилушку ветром — не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулики время.

Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поётся, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет; голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко без обряду невесту свою проводил и пошел домой.

Прокопьевич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на средину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьевича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьевич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьевич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел

на чаши, подошел к Прокопьевичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку¹ да как ахнет по дурман-цветку — только схрупало. А ту чашу — по барскому-то чертежу — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

¹ Балодка — одноручный молот.





ГОРНЫЙ МАСТЕР.

Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по нашему, по- заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовицы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой!

Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это

прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое: три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ко я в Данилушкину избу жить. Всё Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко взялись. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему это по душе пришлось.

— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить постриять и проча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и сядится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изrobился, старый стал.

Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопьичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопьичу даже смешно стало:

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.

Ну, а она все ж таки присматриваться к Прокопьевичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьевич и стал ей то-другое показывать. Не то чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и проча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок¹ при случае.

Прокопьевич не долго зажился. Тут братья-сестры уж по нуждать Катю стали:

— Теперь тебе за неволю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушки. Выучится в горе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить станет².

— Не боюсь, — отвечает, — этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопьевича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Неровен час, поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

¹ Разоставок — в буквальном смысле: вставка, ялин.

² Блазнить станет — почудится, примерещится.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться: «Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушкиной дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны.

У Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает: «Надо, видно, сходить, на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы да от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумёшках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит.

Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это не любо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку, да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, — она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги маляхит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем

его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все ж таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень некрепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла сколько можно, стала выштыввать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу — ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась:

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько тут бляшек выйдет. И потеря самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распилювать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садится, все про Данилушку вспомнит: «Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьевичевом месте сидит!»

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услыхала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в двери, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

— Заходи не то. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты, — говорят, — без шуток!

— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни, хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал.

Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались, да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня, у одной-то?» Ну, все ж таки с собой со владала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отшлиить.

Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только то и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выгодной камешок оказался, и стала сmekать, куда сбыть поделку. Прокопьевич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город: «Спросу там, будут ли напредки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот

хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заяви-
лась прямо в лавку.

Глядит, полно тут всякого камня, а малахитовых бля-
шек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто
покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный
такой. Катя сперва и подступить боялась, потом насмели-
лась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ионе на эту поделку мастеров развелось. Толь-
ко камень переводят. Того и не понимают, что для бляшки
узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину по-
тихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то.
Вот, поди, настрипала!

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на
Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Катя, конечно, это обидно показалось. По-другому она
заговорила:

— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него
говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько
бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала
на прилавок всю поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор
редкостный. Будто из средины-то дерево выступает, а на
ветке птица сидит, и внизу тоже птица. Явственно видно и
сделано чисто.

Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже
поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. На-
шел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу.

Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопья цену. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьевичу платил, да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я, — отвечает, — от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

— Нет, — отвечает, — моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному, да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся — в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится: «Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. — Потом и хватилась: — А не Данилушки ли это мне весточку подал?»

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно

ему, что у Кати редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое ей место Прокопьевич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумёшки она обошла стороной и куда-то за Змейную горку пошла.

Мастер туда же, а сам думает: «Там лес, по лесу-то к самой Ямке подкрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко — и николько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то запушило, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду — версты, поди, за две от Гумёшек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричищала. Ну, как девки-бабы по покойному ревут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, — и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче. Туда солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось.

Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и скрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями видно траву да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала: «Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала, и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит, и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему... С дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой итти.

Итти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушки. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все ж таки Данилушки».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел, избушка у Кати заперта. Он и притаился, — посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную, — отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шпотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла, с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай сторожить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку сколько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.



Братья смеются, сестры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла.

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает: «Коли такой же издастся, значит не поблазнило мне — видела я Данилушку».

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку, узор и обозначился. Еще лучше того-то.

Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как попerek распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей! Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят — Катя мимо Гумёшек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава поизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает: «Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Пере-
кликаются друг с дружкой:

— Там не видно?

Все облазили, а найти не могли.

— Не в гору же она ушла?

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу
найти. Походила-походила, да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали:

— Нет его! Нет его! Нет его!

Только Катя не уныла:

— Данило, отзовись!

По лесу опять:

— Нет его! Нет его! Нет его!

Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут хозяйка горы перед Катей и показалась. Чуть вид-
но ее.

— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Че-
го тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да
уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне жи-
вого Данилушки. Где он у тебя запрятан? Какое твое право
чужих женихов сманивать?

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это
хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя,
разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя,
а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он

ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно; а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя — бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней.

Катя навстречу кинулась:

— Данилушки!

— Подожди, — говорит хозяйка, — и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть: с ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удастью да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — и полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала хозяйка, да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумёшках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пребрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются:

— Там не видно?

Искали-искали, не нашли. Прибежали-домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятъя разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну, и отошли.

«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить. Живой, видно, Данило-то».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Забыли уж, какая раньше-то была.

Тут и вовсе осмелели, в избу вошли. Катеринины братья-сестры спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и захотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел. Кате вон только сказался.

— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?

— Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить...

Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже не много добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой? А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то¹. Поедим лучше, чем о пустяках говорить.

На том и дело кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась.

Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот запрумдел сперва, ногами затоптал:

— Как ты, такой-сякой, смел без бумаги в экую даль уйти? Да я тебя... Да ты у меня...

¹ Чирла — яичница.

Потом, видно, одумался, что на такого мастерашибко приходить¹ не годится. Посмяк и говорит:

— Чтобы вперед этого не было!

— Ладно, — отвечает, — больше никуда не уйду.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. Ребят у них народилось чистое урево². По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не смог сделать. И достаток у них появился.

Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, о чем, а помалкивала.

¹ Приходить на кого-нибудь — обвинять.

² Урево — стадо.





ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

У Данилы с Катей — это которая своего жениха у хозяйки горы вызволила — ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз говаривала: хоть бы одна девчонка на поглядочку! А отец знай похохатывает:

— Такое, видно, наше с тобой положенье.

Ребятики здоровенъки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятишки, я так замечал, злые выходят при таком случае, а этот ничего — веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья его слушались да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?

Отец с матерью, и те частенько покрикивали:

— Митюшка, погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

— Митяйко, не приметил, куда я воробы¹ поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все ж таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и прочта. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлились.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митинны сапожнешки себе пристроить. Так у них все гла-денько и катилось. Соседки издавовались прямо:

— Что это у Катерины за робята! Никогда у них и дра-чишки меж собой не случится.

А это все Митюнька — главная причина. Он в семье-то, ровно огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай, — говорит, — подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласе — рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб

¹ В о р о б ы — приспособление для разматывания пряжи, вращающаяся на вертикальном стояке крестовина.

значит, читать-писать, цифру понимать. Школы, по тогдашнему положению, не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать — он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал — знай слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сампетербурге, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться! Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое ребятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видеть, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым на-бальшником.

Митюнька оробел маленько, все ж таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох-ох! Что делают! Что делают! Ох-ох!

Потом, видно, провадыхался, да и заревел медведем:

— Это что? А? — а сам палкой-то на ноги ребятам показывает.

Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает. Тот заладил свое, недоладом орет:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел, да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р... До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р...

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин нетвердого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельный стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо.

Ну, Данило с Катериной и подумали: может, обойдет-ся дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячих сапожишек. Первым делом на приказчика насыпал:

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен, и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

— А ты, — кричит барин, — не думай, а гляди в оба! Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить!

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несуразица, и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой

тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка — не до каменной поделки. Впору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить — тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки ни отбивался Данило, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Даниле с Катей пришлось. Всех прижало, а ребятам хуже всего: до возраста за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал, сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду. А те опять свое думают: «И такто он у нас нездоровий, а посади его за малахит — вовсе изведется».

Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить — пыли не прдохнешь, щебенку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полир разводить — парами задушит».

Думали-думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться. Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие, и силы большой не надо — самая по нему работа.

Границыщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал — парнишечко смышленый и к работе не ленив.

Границыщик этот так себе, средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Даниле:

— Надо твоего парнишку в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу! Нашел кого надо и пристроил Митюньку.

Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград, там, смородину, малину и проча. И на все установ

имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких шерловых шариков клеили. Однем словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочеков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлана и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил:

— Гляжу я, парень,шибко большое твое дарование к этому делу. Впиру мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал, да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько, да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай, выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Еще посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая! Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой, только-только ус пробиваться стал.

По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, — один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал: пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога не далекая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не целая малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят, и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке, у матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, — а радости в семье нет. Данило уж вовсе ста-

риком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть не весело. Быются, быются, а все в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожишек вышло.

Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, струментишко тоже требуется. Меньше все, а место и ей надо. Пристроился в избе против окошка и пришал к работе, а про себя думает: «Как бы добиться, чтобы из здешнего камня ягоды точить? Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить».

Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки, и то не вовсе годится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой.

Окошко перед станком, по летнему времени, открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает: «Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?»

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука с кольцом на пальце и в зарукавье и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наваждение какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со споровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодных веточки: черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал — до-знататься, кто это над ним шутки строит. Оглядел всё — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась? С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему милее пришелся и к материалу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила: моло-дец, дескать, понимаешь дело!

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожа-лела, видно, горбатеньского парня растревожить своей красо-той — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал.

Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил, да еще, где надо, желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки, да тогда их на-чисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тоненько пристроить. Однем словом, сортовая работа. В каждой ягоде ровно зернышки видно, и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлились. Ну как есть настоящие.



Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню работывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевику да дорожного соку такая штука вышла.

Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость! Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-тошибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался¹ отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина оконечка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скрупой: шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед оконшком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся: еще на смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватали за какого-то там князя ли, купца ли и придано ей собирал.

Полевской приказчик, и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видел и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестков с наказом: если отдавать не будет, отберите силом.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

¹ Поськаться — намереваться, пробовать, пытаться.

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты.
Подходящая штучка.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней сделано и сколько камни стоят?

Приказчик отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материала: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера все повернутил:

— Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насказал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел?

Барин знай хрюпит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин:

— Это тот... в сапогах-то который...

С палкой на Митюху кинулся:

— Как ты смел?

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

— Приказчик у меня силой отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрюпит:

— Я тебе покажу!..

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, — кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хрюснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели. Митюха вышел и куда-

то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видели. Кто понимающий, те узнавали ее.

И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным оконшком, тоже потерялась, и тоже с концом.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели — отступили. А барин еще сколько-то задыхался, все-таки вскорости его жиром задавило.





ЧУГУННАЯ БАБУШКА

Против каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставил.

Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.

В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях живали. Народ, значит, и прибыл.

Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того их со стороны привозили: которое, как говорится, из столицы, которое из-за границы, а то

и просто с толчка. Ну, мало ли, — приглядается заводским барам какая вещичка; они и посылают ее в Касли с наказом:

— Отлейте по этому образцу к такому-то сроку.

Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.

Ну вот...

В числе прочих литьщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литьном его звали.

Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талан к этому имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил.

Самые тонкие работы ему доверяли.

За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится: «Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятное показать... А ну-ко, попробую сам».

Только человек возрастной, свои ребята уже большенькие становят — ему и стыдно в таких-то годах ученьем заниматься.

Так он что придумал? Вкрадче от своих семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает.

Ну, он и рассказал:

— Так и так... Придумал свой образец для отливки готовить.

Жена посомневалась:

— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?

— Вот то-то, — отвечает, — и горе, что придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядет. Видала?

— Как, — отвечает, — не видала, коли чуть не каждый день к ним забегаю.

А по соседству с ними Беск雷斯ловы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, и у этой бабки досуг был.

Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой.

Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет и зайдет к соседям, будто за делом каким, а сам на бабку смотрит.

...Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло — показывать ли? Еще на смех подымут!

Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых принялся, неплохую память о себе в заводе оставил... Поглядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:

— Подожди маленько — придется мне посоветоваться.

Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги:

— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.

Так и пошла торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее все бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться.

На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелились — тоже принялись лепить да резать, кому что любо.

Только недолго так-то было.

Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:

— Вот что, Торокин... Считаю тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Сконфузил ты меня своей моделькой.

А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали, тех всех до одного с завода прогнали...

...Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Растворгувевых значились. А это уж так повелось — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К турчаниновскому, скажем, наследству прилипли Кронберги, к яковлевскому — Берги, а к растворгувевскому подобрался фон-барон Меллер, да еще Закомельский.

У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Приезжала она к нам на завод.

Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей пе-рины, ежели сдаля поглядеть.

И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер всегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейной подсмеивались:

— Подобрано на немецкой тетки глаз — нашему брату не понять.

Ну так вот... Уехала эта немецкая тетка Каролина кудато за границу.

Меллеру, видно, не до этого было либо он на барышни позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка, так сразу перемена делу вышла: визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку.

Меллер, видно, умишком-то небогат был, забеспокоился:

— Простите-извините, любезная тетушка, — недоглядел. Сейчас дело поправим.

И пишет выговор управляющему со строгим предписанием — всех новоявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.

Так вот и плюнула немецкая тетка Каролина со своим



дорогим племянником нашим каслинским мастерам в самую душу.

Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.

Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит — на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:

— Ваших заводов литье?

— Наших, — отвечает.

— Хорошая, — говорит, — вещица. Живым от нее пахнет.

Пришлось Каролинке поддакивать:

— О, та! Очень превосходный рапорт.

Пришлось Каролинке это проглотить. А тут любезный племянничек пеняет:

— Что ж вы, дорогая тетушка, меня конфузите да в убыток вводите! Отливки-то, которые по вашему выбору, во все никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут: либо, говорят, в Касляк на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.

Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролину. Может, заводские художники дотолкали...

Теперь, конечно, это дело прошлое. С той поры много воды утекло.

Полсотни лет прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокин, а работа его и теперь живет.

В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке, вот-вот ласковое слово скажет:

— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисию. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка

моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила и, по старости, сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы и по суседству. Мальчионком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю — о Василье Федорыче Торокине...

Так-то, милочек! Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.



СОДЕРЖАНИЕ

Живинка в деле	3
Иванко-Крылатко	11
Железковы покрышки	22
Каменный цветок	35
Горный мастер	59
Хрупкая веточка	75
Чугунная бабушка	87

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы об этой книге присыпать по адресу: Москва,
М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.*

Для среднего возраста

*

Ответственный редактор *A. Кравченко.*
Художественный редактор *B. Дехтерев.*
Технический редактор *B. Артамонов.*

*

Подписано к печати 13/VIII 1946 г.
6 п. л. (4,6 уч.-изд. л.). 35 000 экз. в п. л.
Тираж 30 000 экз. А01671. Заказ № 2730.
Цена 3 р. 30 к.

*

Фабрика детской книги Детгиза. Москва,
Сущевский вал, 49.

K

Цена 3 р. 30 к.